

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

В.Б. Голофаст

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН В СОЦИОЛОГИИ

В последние два десятилетия XX века в социологии и сопредельных дисциплинах широко распространились новые методы исследований. Их часто называют, по контрасту с методами массового социального обследования, — количественными уже потому, что данное обследование опирается на статистическую теорию выборки, психологическую теорию измерения и статистический анализ связей — качественными исследованиями, но широко бытуют и другие названия, как то мягкие методы (в противовес жестким), свободные (в противопоставление слишком формализованным), этнографические (в сопоставлении с анкетной бюрократией опросов общественного мнения или изучения рынков) [1 – 4; 5, с. 143 – 156]. По моему мнению, основная характеристика этих методов лежит в другой плоскости. Это методы работы с текстами, авторы которых точно известны, как и многие обстоятельства производства самих текстов. При этом сами тексты служат источником и материалом многообразных проблематизаций в рамках широкого круга новых исследовательских интересов и теорий. Большая часть этих текстов имеет характер личных документов или псевдодокументов. Таковы автобиографии, биографические интервью, интервью или самостоятельно подготовленные тексты по семейной истории, мемуары, воспоминания, свидетельства, дневники, подборки писем. К ним примыкают комментированные самими авторами генеалогии, альбомы (семейных фотографий, молодежного фольклора) и некоторые другие источники. В зарубежной литературе эти виды текстов называются по-разному: *life stories, family history, oral history, biographical interview, récits de vie, autobiographies, généalogies, Biographieforschung, la littérature personnelle ou intime*, и т.д.

Парадоксально то, что эти методы воспринимаются как новые, хотя многие такие источники давно известны в социологии и других науках или, во всяком случае, уже не одно столетие бытуют как разновидности социально-культурной практики — по крайней мере, в европейском контексте. Итак, приемы работы с этими источниками приобретают характер новых методов социологии в свете особых ориентаций исследователей, нового предмета их интересов, новой онтологии. Это обстоятельство требует некоторого пояснения и осмысления.

Предыстория

В отличие от биографий и жизнеописаний святых, царей, королей, цезарей, реальных героев или отрицательно оценивавшихся исторических личностей

Голофаст Валерий Борисович (р. 1941) — кандидат философских наук, зав. сектором социально-культурных изменений Социологического института РАН (С.-Петербург).

Адрес: 198052, СПб., Измайловский пр., 14/25.

Тел. (служ.): (812) 316-21-62. Тел. (дом.): (812) 589-31-35.

Факс: (812) 316-29-29.

(которые были построены как культы, апологетика или рассматривались как нравоучительные истории, т.е. выросли из уже сложившейся культурной практики и ее жанров), первыми личными документами, которые привлекли внимание исследователей, были, вероятно, литературные псевдоавтобиографии (может быть потому, что они были пространными, детальными, стали в определенную эпоху достаточно массовыми и несомненно несли на себе печать конкретного автора). Пожалуй, в Европе следовало бы начать с Руссо, а в России с Толстого («Детство. Отрочество. Юность»). Рассказывая о себе и своей жизни, авторы текстов закладывали также основы соответствующих жанров литературы. В этом их отличие от других, сугубо личных документов — писем и дневников, а также от воспоминаний, мемуаров, чаще ориентированных вовне, к внешним событиям и обстоятельствам, культурная форма которых к тому же имеет менее специфический и явный характер. Эти более мелкие, как правило, жанры или виды личных документов всегда рассматривались как более инструментальные, подчиненные обстоятельствам их написания, проблематизированные или тематизированные самими авторами во вполне прагматичном ключе. Подобные тексты появились значительно раньше и широко использовались, скажем, историками.

Впрочем, это касается и автобиографий, только они уж совсем редки в более ранние времена. В России можно вспомнить Протопопа Аввакума, в Европе примеров больше, но ненамного*.

Итак, эта линия ретроспективного анализа уводит нас слишком далеко в неопределенное прошлое и не дает почувствовать новизну ситуации в социологии. Отправной тезис последующего изложения — это короткая шкала изменений, начавшихся буквально вчера и происходящих на наших глазах.

Этнографические методы

Прежде всего с помощью этнографии возрождается забытая традиция описательного исследования, т.е. сознательного усилия к систематическому, всестороннему, детальному описанию без предварительных предубеждений. «Плотное описание» — идея Клиффорда Гирца — стало популярно совсем недавно, но его резоны не вполне прояснены до сих пор. По мысли Гирца, плотное описание становится возможным только в свете определенной теории или группы теорий, при овладении контекстом ситуации, когда описание перестает быть «запиской из бутылки», отрывочным фиксированием случайного факта, когда можно обобщать не в серии примеров, а внутри описанной ситуации [7, р. 26]. В этнографическом описании особо подчеркивается также необходимость освоения точки зрения участника, что сближает плотное описание этнографа и достаточно пространное самоописание в личных текстах.

Второе направление заимствований из этнографии — это распространение неформализованного, не жестко структурированного наблюдения и использование обычных людей как информантов. Для опроса выбирают не экспертов

*Общий обзор этой линии собирательства и использования личных текстов в истории, а также в истории литературы дает Филипп Лежён [6, р. 299 – 322]. Эта статья также переведена на немецкий Шарлоттой Хайнриц (в журнале: Bios. 1998. Н. 1), которая публикует регулярные обзоры исследований по биографиям в разных странах.

какой-либо среды, а обычных рядовых участников, они интересней, выбирают не только культурно-маркированные ситуации и процессы, а любые фрагменты повседневности. В этом отношении — в тактике отбора информантов, интервьюируемых — наблюдение явно или неявно отсылает к сложившемуся опыту массовых статистических обследований, оставляя, однако, в стороне требования статистики и идею массовости. Другие приемы могут удерживаться (например, тактика «снежного кома»).

В отличие от этнографов, социологи не считают своих собеседников анонимными, но внимательно присматриваются к их социальному пути и положению, окружению, опыту и кругозору. Отсюда такой интерес к автобиографиям и генеалогиям семей, которые дают фактическую социокультурную глубину, хронологию и привязку к социальной истории, а не отсылают к условной бездонности традиции. Эти свойства личных текстов в социологии редко аргументируются или сверяются историографически, хотя такие возможности в некоторых странах и имеются (США, архивы и конференции мормонов Штата Юта, Италия, возможно, Польша, Германия, Литва, Великобритания) [8, с. 115–143].

Антропология

В определенный момент у людей возник интерес к телу, его образу, социализации, оснащению, практическим навыкам, выразительным возможностям и способностям и, одновременно, к повседневным ритуалам, обычаям, практикам, структурам повседневности. Сюда же нужно отнести интерес к быту, орудиям, инструментам, привычной среде обитания, местам коллективных встреч и времяпрепровождений. Биологизм, материальность культуры, пространство и время жизни перестали пониматься только как унифицирующие познавательные категории, они становятся предметом описания, их конфигурации анализируются заново для каждой группы или ситуации.

От антропологии идет интерес к универсалиям жизни и смерти, а не только к специфике культуры или особым чертам соответствующего слоя или круга людей. Мультикультурализм обязывает, как и многослойность культурного детерминизма. Опять-таки характерна настойчивость К. Гирца в употреблении понятия «глубокой игры», подразумевающего развертывание взаимодействия сразу на нескольких уровнях и при возможности их тривиального переключения для любых участников. Еще одна метафора К. Гирца — «смещение языков», учет перспектив всех участников взаимодействия — также отсылает к взаимодействию субкультур или к их принудительному присутствию в «социальном дискурсе». Из американских авторов недавнего прошлого не случайна популярность в самых разных социологических контекстах Э. Гоффмана и некоторых этнометодологов, тексты которых прежде всего служат источниками вдохновения, угла зрения, однако редко используются прямо по назначению. Из этих текстов заимствуется идея драматического характера взаимодействия, который должен учитываться даже в глубоко рутинных формах обыденного или профессионального дискурсов из-за возможного несовпадения перспектив участников.

Тем самым не столько обогащается понятие контекста, сколько изменяется перспектива взгляда на любой текст (описанную практику, вид поведения), на многообразие того, что в него вложил автор, что он содержит как историчес-

кий продукт и, наконец, на многообразии его возможных интерпретаций, прочтений, проблематизаций. (Нормативизм грамматики и словарных определенных отступает перед фактичностью узуса, но существует и давление социального дискурса как нормирующей и формирующей силы. При этом к факторам письма, текстуализации могут быть добавлены любые факторы чтения, интересы исследования.)

Понятие же контекста обогащается за счет других ориентиров, за счет более конкретного знания прошлого или вариантов и репертуаров действия, мысли и чувства в окружающей среде, в серии повторяющихся ситуаций, институциональных условий. К. Гирц отождествлял понимание контекста и культуры. Это естественно для небольших, слабо дифференцированных сообществ. Другие авторы детализируют контекст в глубину. Таково, например, понятие «фоновых практик», «фоновых знаний, навыков», которое характеризует не только личную культуру или субкультуру (хабитус, т.е. совокупность ментальных и телесных навыков, диспозиций и испытанных на практике способностей), но и характеристики соответствующего социального пространства, «поля», действующих в нем социальных сил, конкретность, специфичность ситуации производства текста или практики.

История

Здесь несколько разных тенденций. Устная история, т.е. воспоминания, мемуары, свидетельства означают интерес к малой истории, а не только к обстоятельствам жизни и взаимоотношений очевидных культурных героев, лидеров или участников больших событий, свидетелей значительных эпох. Мелкое кажется столь же важным, оно требует интерпретации не менее, чем уже неоднократно обкатанное в известных моделях. Так постепенно происходит ревизия окостеневших макротеорий и производных от «великих нарративов» господствующих до сих пор микроконцепций. В Англии, например, популярна местная история, в СССР до войны был расцвет краеведения, включая местных персонажей, не только культурных активистов. Сюда нужно отнести обыденную историю важных социальных событий (голод, репрессии, миграции, индустриализация, коллективизация, блокада, служба в армии и т.п.). Отдельно упомяну самиздат политических диссидентов и литературы и тамиздат эмигрантов. Другая важнейшая тенденция — это повышенное социальное внимание к личным текстам в структуре сложившихся социокультурных практик. Конкурсы автобиографий в Польше, в Финляндии, в Италии, в России, фонды автобиографий в Германии, во Франции, в Квебеке, в Мексике и других латиноамериканских странах явно связаны с национальной историей или масштабным переструктурированием, перепластованием соответствующих обществ, перекраивавших жизнь значительных масс людей. Но есть и другие формы, например, телепередача «Старая квартира» как пример институциональной поддержки инициативы или воплощение, оформление коллективного культурного стремления.

Психология

Довольно давно развивается психобиография, т.е. психологическое уточнение известных историй жизни известных людей. Но в целом создается впечатление

чатление, что психология в происходящих событиях вне игры. Она, скорее, действует по макету давно практикующихся литературных, политических или чисто коммерческих биографий, используя первые попавшиеся под руку средства для интерпретации поворотов или загадок в жизни избранных персонажей.

Важным исключением среди психологических концепций и течений являются когнитивные теории, которые устанавливают новые перспективы анализа мышления, сознания, восприятия, выражения, языка. Но сегодня когнитивизм стал прежде всего междисциплинарным движением, а психологии еще предстоит усвоить его уроки.

Социотехника

Так бы я назвал традиции исследований в Германии — как воспитывать молодежь, обеспечить подготовку к профессиональной или семейной жизни, как выстроить для себя образовательную карьеру. Эти прикладные задачи вырастают из более широкого контекста — реинтерпретации истории нацизма, переосмысление (переписывание, освоение и индоктринация) истории в более сбалансированном ключе. В России заново переживается не только Отечественная война, но и Афган. На очереди Чечня и другие конфликты. Что уж говорить о переписывании истории СССР и России, о переосмыслении истории других стран. Без малой истории (учета всех аспектов и синтеза пережитого) это вряд ли возможно. После революции составлялся мартиролог ее жертв и героев в форме биографий и воспоминаний товарищей по подполью или по оружию, конечно, с дидактическими целями. Стремление удержать и эксплуатировать коллективную память лежит в основе практики культивирования мемуаров ветеранов войн, революций, поскольку их общественная оценка обычно очень сильна и устойчива, охраняется институционально. Другая ситуация с такими событиями как, например, освоение целинных и залежных земель, строительство БАМа и т.п., мемуары о которых имеют случайный и гораздо менее модулированный характер. Яркий пример переориентаций — запутанная оценка некоторых ключевых событий лагерной истории (прежде всего восстаний), частично связанная с недостаточной многосторонностью их освещения.

В последнее время основным направлением, которое вдохновляется социотехническими мотивами, практической идеологией, но также и накопленными результатами, стали феминистские исследования и движения. Здесь написание личных текстов становится даже воспитательной и манипуляторской практикой [9, с. 178 – 184; 10, с. 55 – 62; 11, с. 188 – 204; 12, с. 262 – 302; 13, с. 227 – 238; 14, с. 239 – 251].

В более широком плане показано, что институциональное нормирование человеческой жизни и формирование «нормальных биографий» возникло в Европе в эпоху выделения общественно организованной экономики и политики, а затем и других общественных институтов или секторов общественной жизни (конец средневековья, начало модерна) (см. работы В.Фишер-Розенталя в Германии).

Технические революции

Мы живем в странное время. Часть Биографического фонда, который собирается нами с 1989 г., состоит из рукописных материалов [15, с. 82 – 116].

Между тем появились портативные магнитофоны, видеокамеры и компьютер, ксероксы, факсы и сканеры, малая полиграфия и свобода печати и рынка, интернет и глобальное телевидение «он лайн». Социальные науки, хоть и вяло, но реагируют на эти революционные средства работы с текстами. Правда, результаты пока в основном имеют традиционный характер: статьи, книги, ускоренный поиск библиографии. Впрочем, в некоторых странах накапливаются так называемые тональные (звуковые) архивы или коллекции индивидуальных и групповых видеодокументов, которые отличаются от давно известных методов обращения с фото и кино документами, традиционно подчиненных институциональным целям. Почти не замечая изменений, антропологи, этнографы и социологи перешли от так называемых полевых записей к транскрибированию магнитофонных архивов. Появились многочисленные публикации и даже периодика по визуальной социологии (фото и видео тексты). Социолингвистика и изучение массовой коммуникации почти полностью перешли на использование высоких технологий. Вообще, пока читаешь перечисление новых технических средств, начинаешь понимать, что человек входит в новый неизвестный мир, в котором любые аспекты существования могут быть удвоены, описаны, размножены, симулированы, сохранены. Но станут ли они нашей новой жизнью? Или человек все-таки сохранит свое место вне пределов виртуального пространства? Виртуализация как бы выворачивает человека наизнанку, делает некоторые его внутренние качества более доступными, более видимыми, чем даже его внешность или материальные и социальные обстоятельства его жизни.

Новые понятия и теории

Интерес к личным текстам целиком связан с новыми понятиями и теориями во многих разделах социальных наук. Может быть самые важные из них это дискурс, воплощением которого являются личные тексты, рутина, обиход, повседневные практики, описываемые личными текстами, коммуникации, имея в виду интересубъективные, культурно связанные, культурно формируемые компоненты личных текстов, разделяемых кругом людей, поддерживаемые ими совместно как жизненный мир повседневности. Некоторые даже считают, что эти структуры конструируются участниками социального взаимодействия совместно как тот образ социальной реальности, в который они верят некритически, без дистанции, который они считают нормальным в силу соучастия всех участников в его повседневном воспроизводстве. Последнее мне кажется недопустимым сужением теоретического видения повседневности, прежде всего в силу игнорирования властных или авторитетных культурных инстанций, которые поддерживают нормальный социальный порядок, коллективный обиход. Иными словами, я считаю абсолютизацию конструктивистского тезиса иллюзией микросоциологии культуры, которая лежит в основе всех подобных теорий.

С понятиями коммуникации, вербализации, текста, дискурса связано оживление интереса к интенции, замыслу, проекту, поступку — во-первых, интерпретации, пониманию, эмпатии, герменевтике — во-вторых, к ритуализации, культу, церемониям, паралингвистическим компонентам взаимодействия, символам, сигналам и т.п. семиотическим системам (коды, культурные категории, риторические фигуры и структуры) — в-третьих. Основной метод, диктуемый этими интересами, — это нарративный анализ, жанры, типы и модусы выска-

званий и повествований, их историческая и литературная судьба и место в формировании повседневной культуры. Здесь большое значение имеет поворот к археологии знания и опыт (отрицательный, обескураживающий) восстановления генезиса его ключевых элементов. Исследователям традиционных текстов приходится пересматривать привычные убеждения об атемпоральности и локальности традиций в пользу датировки заимствований, культурного синтеза и их функциональной основы. Исследователи же текстов массовой коммуникации, прежде всего телевидения, кино, рекламы, виртуального пространства теряют голову, обнаруживая анонимный, машиноподобный, отчужденный характер их производства, циркулирования и использования [16, с. 77 – 86]. В результате разразился кризис и пышным цветом расцвел постмодернизм, как произвольный коллаж культурных или исторических элементов и приемов. Философия науки лежит в руинах, традиции исследований обесцениваются, эклектика стала нормой поведения. Ощущением кризиса и сознанием новых ориентаций охвачены многие дисциплины социально-гуманитарного цикла. Характерно понимание тупиковости сложившихся форм интереса к фольклору, анархия в области литературоведения, истории социологии. Между тем некоторые практики продолжают работать, игнорируя этот кризис и ажиотаж на рынке.

Важнейшей особенностью любого социального взаимодействия является диалог, который обнаруживает драматическое измерение коммуникации, обихода, социального порядка, даже если его многослойная структура искажена, подмята, деформирована до неузнаваемости авторитарным строем социальных отношений или по видимости вырождается в бесцветное повторение одних и тех же ритуализированных формул или действий, даже если социальное взаимодействие технологически организовано и не оставляет никакой щели для индивидуального колебания, размышления, решения, поступка, а с другой стороны, для рефлексии, обмена мнениями, выявления позиций, воображения и фантазии, конфликта и борьбы [17]. Кстати, такое понятие как хабитус, призванное объединить детерминанты тела и ментальности, конкретной ситуации и условий ее воспроизводства, заслоняет диалогический характер действий и коммуникаций, превращая личную культуру лишь в инертную силу, затушевывает культурные возможности, случайность, произвол или даже самое пространство свободы. Другой недостаток хабитуса — это умолчание о коллективной поддержке, необходимой для его воспроизводства, т.е. явное указание на социальное измерение, определение и подтверждение личной культуры.

Неразработанность понятия диалога для целей исследования, подмена его сути понятиями коммуникации или, того хуже, информации создает разрыв в теории. Виртуозность анализа повествований оказывается лишь кажущейся и сходный по детальности анализ диалога (социального взаимодействия в богатстве его форм) провести не удастся. Мне кажется, это частично осложняет наблюдающийся кризис. Впрочем, к числу негативно действующих факторов следует отнести и давление индивидуалистических теорий, например, теории рационального выбора, идентичности, адаптации, новых версий психоанализа, которые заслоняют социокультурную природу повседневности, разрушают коллективный образ обихода и делают невидимыми механизмы его воспроизводства. Внимание уводится в зону спекулятивных психологических артефактов, а

теоретические построения приобретают характер порочного круга. Впрочем, нельзя не признать оживляющего значения для социологии изучения антропологических инвариантов и биологических механизмов существования. В XX в. в этих довольно далеких областях философия и научная картина целиком перестроена, тогда как социология склонна все еще питаться приблизительными и грубыми положениями XIX в., доставшимися от ее первых классиков.

Обесценивание прежних теорий, понятий и интересов

Среди всех возможных методов работы с текстами сегодня господствует биографическое интервью, которое на самом деле весьма часто еще и тематизируется по традиционной проблематике. А в прикладных областях в моде фокус-группы, работа с которыми также оформляется текстуально (а не в цифрах, таблицах, расчетах, графиках и моделях). Как бы то ни было, в данных методах тематизация очень сильна. В этом проявляется инерция старых теорий. Между тем в практической эмпирической работе фокус внимания явно перемещается от вопроса к пространным текстам ответов. Активно ведется поиск новых приемов, которые позволят человеку свободно говорить. Не только на заданную тему, но и вне связи с ней. Создать условия, чтобы человек мог выговориться, проявить свой голос.

Другой аспект этих процессов — переосмысление истории, возникновения и роли стандартных количественных технологий и методов массового статистического обследования. В политических опросах они господствуют, тогда как в рыночных исследованиях уже нет. Идеально приспособленные для изучения массовых процессов и массовых структур, эти методы утратили монополию на эмпирию в социально-гуманитарных областях, но все-таки области их валидного применения еще не очерчены вполне вследствие чрезмерно наивной и самоуверенной философии исследования, из которой они выросли.

Методы массового статистического обследования сложились в США в конце 30-х годов текущего века и приобрели стандартную форму во время второй мировой войны в так называемом «концерне П. Лазарсфельда». После войны они были экспортированы во многие страны и стали даже восприниматься как визитная карточка самой социологии. Конечно, вопросники существовали задолго до этих событий. Но следует сказать, например, что Э. Дюркгейм не знал корреляционного анализа, что методы выборки у Дж. Гэллага вначале были сугубо практическими, а не расчетными, что первые шкалы создавались интуитивно и работы Л. Гутмана вначале казались излишней экзотикой, что П. Сорокин еще в 50-е годы называл экспансию количественных методов квантофренией, что историки (хоть и консерваторы, но люди информированные) всегда косились с опаской на результаты количественного анализа, поскольку свобода применения выборочного метода и измерения в историографии чаще всего ограничена, дает очевидные перекосы и огрубления.

Новые методы социологии пока не затронули макросоциологию, где количественные методы (но не статистика) никогда не были особенно заметны, и международные сравнительные исследования (например, программу Р. Инглхарта).

Несколько цитат из М. Хайдеггера.

«Страшно на самом деле не то, что мир становится полностью технизированным. Гораздо более жутким является то, что человек не подготовлен к это-

му изменению мира... Затормозить исторический ход атомного века или же направить его не может ни один человек, ни одна группа людей, ни одна комиссия выдающихся государственных деятелей, ученых и инженеров, ни одна конференция ведущих деятелей промышленности и торговли, Ни одна человеческая организация не способна подчинить себе этот процесс. Так будет ли человек отдан во власть неуправляемых сил техники, неизмеримо превосходящих его силы, растерянным и незащищенным? Это и произойдет, если человек окончательно не откажется от того, чтобы решительно противопоставить калькуляции осмысляющее мышление. ...Подкапывающая техническая революция атомного века сможет захватить, околдовать, ослепить и обмануть человека так, что однажды вычисляющее мышление останется единственным действительным и практикуемым способом мышления. Тогда какая же великая опасность надвигается на нас? Равнодушие к размышлению и полная бездумность, полная бездумность, которая может идти рука об руку с величайшим хитроумием вычисляющего планирования и изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою глубочайшую сущность, именно то, что он есть размышляющее существо» («Отрешенность», 1955 г.) [18, с. 108–112].

Философ говорит о сущности человека. В контексте нашего разговора его мысли указывают на опасность погружения человека в технизированный процесс калькуляции при равнодушии к теоретическим размышлениям, направленным на действия человека, какими они суть в его собственном понимании, описании, повседневном переживании и осуществлении. В этом отношении установки Хайдеггера остаются вполне классическими, оставляющими дистанцию между действием и теорией неизменной. Позднее французские оппоненты Хайдеггера (Деррида, Делез, Лакан) сменили угол зрения, пытаясь показать общие предпосылки теории и действия («машина желания», неконтролируемые истоки в природе или в культуре), тем самым снимая дистанцию между теорией и действием. Не отбрасывая эти повороты, важно обратить внимание на пространство размышления как реальное и фактическое многообразие культуры, отраженное в тексте, воплощенное в нем, осуществляемое посредством текста. Что касается повседневности, то собственно размышление в пространстве детерминации почти отсутствует, тогда как силы культуры вполне господствуют над ним. Это, лишь на первый взгляд парадоксальное, обстоятельство и делает повседневность соблазнительным полем исследовательского интереса. Тем более, что в других разделах социальных исследований, а именно там, где внимание сосредоточено на механизмах идеологической манипуляции и осуществления власти, наблюдается определенная усталость и даже растерянность. Глобальные процессы просто сокрушают сложившиеся иерархические структуры, обходят их с помощью новых технологий и социальных приемов.

Хотя многие новые проблемы и предметы интереса возникают в русле антипозитивистских течений, в гуманитарных, интерпретативных, культурологических «лабораториях», характерна устарелость и потеря интереса ко всем теориям социального действия, которые росли как грибы в 60–70-е годы.

Несколько примеров тематизации текстов

Иохан Хёйзинга в своей книге 1919 г. «Осень средневековья» [19] восстанавливает обыденную культуру XIV–XV вв. на основе текстов высокой лите-

ратуры, дворцовой и церковной живописи и скульптуры, используя для характеристики повседневности и другие косвенные свидетельства. Его, правда, с некоторым снисхождением характеризуют как методологического нигилиста или в лучшем случае как человека, следующего интуитивистской методологии [20, с. 421 – 422]. Последующие разработки в указанном Хейзингой направлении оказались также замечательно продуктивными (школа «Анналов», Норберт Элиас, у нас работы А.Я. Гуревича, альманах «Одиссей», но прежде всего бесчисленные работы отечественных востоковедов, фольклористов, литературоведов, лингвистов, этнографов, которые опираются в первую очередь на собственные традиции интерпретации лингвистических и материальных текстов культуры).

Ирина Разумова в только что написанной диссертации [21], не декларируя своих предпочтений в области методов, считая само собой разумеющимся следование традициям своей дисциплины — этнографии, принимает всякое высказывание информантов, письменное или устное, как имеющее фольклорную форму, которую без всяких заметных трудностей можно свести к архаическим источникам (традиции), имеющим, вероятно, только один фактор детерминации — локальность. Как бы то ни было, она сделала свою работу.

Нина Цветаева в ряде статей [22, с. 118 – 132; 23, с. 117 – 145; 24, с. 38 – 54] прослеживает формы идеологизации повседневной речи, как они отражены в автобиографиях крестьянских мигрантов в города и интеллигентов в первом поколении в СССР. При этом ей приходится неявно опираться на предположение, что сама по себе идеологическая речь беспроблема, вполне интегрирована, непрерывна, не содержит противоречий и пустот и покрывает всех единым покрывалом. Иначе говоря, она такова, поскольку она легитимна, ее единственная функция — оправдание власти и поддержание статус-кво. Все эти постулаты приходится отвергать Алле Корниенко в ее попытках обнаружить партийные структуры идеологического дискурса, как они представлены в газетах и листовках разных политических направлений [25] (см. также материалы ее проектов в ИС РАН).

Татьяна Щепанская попыталась представить молодежную субкультуру Петербурга «как социальное формирование тел их (молодежных тусовок) участников: освоения культурных практик осуществления телесных функций», а «публичные акции — как размещение тел в социальном пространстве», интерпретируя в этом смысле тезис об «антропологии молодежного активизма» [12]. В другой ее работе чисто феминистская тема — переживание беременности — также рассматривается через социокультурное сокрытие или оформление, выражение тела [13].

Наталья Козлова в своих многочисленных публикациях последних лет [26; 27] рассматривает разнообразные личные тексты на фоне антропологических и социологических констант, настаивая на очевидности их выражения в примитивах долитературного уровня (я бы назвал их, скорее, буквальным пересказом повседневности, который, на мой взгляд, распространен во всех слоях общества, а не только в докультурном или долитературном состоянии). Ее анализ обычно красив, стилистически проработан, но все-таки напоминает ловко сконструированный коллаж попадающих в поле внимания исследователя антропологических и социологических категорий. Пока ей не удастся найти приемы

для выявления дифференциации, специфического, различий, которые вытекают бы логично из общего или соединялись в нем.

Вообще говоря, баланс описательности и проблематизации достигается, скорее всего, в последовательной цепи работ, которые возникают как результат критического усилия, а не просто повторения или применения в исследовательской практике известных образцов. Примером может служить понимание «смеховой культуры» или «игры» как посредника в динамическом формировании, столкновении или трансформации категорий культуры (верха–низа, власти (силы, насилия)—отдельного я—«мы-группы»—наблюдателей, свидетелей, публики, остального общества, жизни—смерти, материи—духа, отчаяния—радости, порядка—хаоса и т.п.) [20, с. 450 – 451]. Сегодня этот результат кажется тривиальным, особенно после работ Виктора Тернера о трикстерах, характерных для них практиках и функциях в культурном процессе.

Во всех этих примерах чувствуется, что исследователи двигаются наощупь или доверяют накопленной массе материала (Хёйзинга, Разумова), если, конечно, они просто не воспроизводят показавшие эффективность образцы (Корниенко) или упорствуют в иллюстрировании принципов своей теории (Козлова, Щепанская). Культура, характеризующаяся посредством анализа или производства текстов, предстает прежде всего через свое панорамное измерение. Проблематизация и теория в этих исследованиях предстает начальной или фрагментарной, отложенной до будущих исследований.

Если просмотреть текущие публикации в отечественных и зарубежных журналах, которые так или иначе используют личные тексты как материал испытания новых ориентаций и понятий, сразу обнаруживается связь с практическими интересами, с одной стороны, и накопленным материалом, с другой. Недавняя книга И. Травина, Ю. Симпура [28] в основном преследует описательные цели, как и книги под ред. В. Костюшева [29] или М. Витухновской [30]. Само название московской книги «Судьбы людей: Россия XX век» [2] наполнено описательным пафосом, вопреки исходному замыслу Д. Берто «Сто лет социальной мобильности в России» [1]. В ситуации отечественной социологии все это можно считать безусловным достижением, поскольку сами источники — личные тексты — пока не публикуются, притом самые поучительные из них — автобиографии. Исключения, конечно, можно найти (среди немногих примеров — Козлова, Сандомирская). Чаще издаются тексты интервью, к сожалению, почти всегда жестко тематизированные исследователем (особенно с членами так называемых элит, реже с экспертами). Между тем, если социология оказывается вынужденной развивать свои связи с другими историческими науками и практическими видами социокультурной деятельности, ей нужно расширять свою собственную источниковедческую базу. В дополнение уже существующим архивам данных и инструментам массовых обследований во многих странах, и в России в том числе, начинает развиваться сеть архивов личных текстов. Публикация их фондов, конечно, идет с большим опозданием, хотя это остро необходимо в интересах продвижения по этому новому пути (см. опубликованные тексты конкурсов автобиографий, интервью биографического плана [30; 31], публикации мемуаров давно уже имеют даже свою периодику).

Явно переходный характер работы с личными текстами, когда необходимость практической и теоретической переориентации не осознается или дает о

себе знать инерция традиционных постановок проблем, порождает скрытое или демонстративное методологическое недовольство.

Поскольку личные тексты конденсируют социокультурную ткань повседневности, к ним больше не имеет смысл относиться только как к знакам индивидуальной психологии или как к психоаналитическому пространству. Они становятся окном в социокультурный мир, свойства которого известны гораздо лучше, чем мир души и бессознательного. Многие важнейшие составляющие этого мира на виду, в истории, доступны наблюдению, имеют структурный характер, по одним его элементам сравнительно легко восстанавливаются другие, они, по определению, более устойчивы, воспроизводимы, подчинены более масштабным и глубоким факторам, чем психологические состояния.

Личные тексты — это подлинная археология социокультурного мира повседневности, это реальность, которая не столько «отражает» психику, сколько проявляет, делает явными, зримыми воздействия социальных институтов и культуры на человека в его биографической конкретности, в его оплетенности социальными отношениями и значениями, которые он воспроизводит и предъявляет нам сам.

Особенности методов

Не развивая эту тему дальше, обратимся к использованию личных текстов как методу. Основная проблема — насколько личные тексты, благодаря своему социокультурному содержанию, форме отражают структуру повседневности, биографию, жизненный цикл и социальные события, в которые была вплетена жизнь индивида? Ответ дает практика исследований. Прежде всего ясно, что социолог интересуется не судьбой отдельного индивида, а через него, как посредника, социокультурным миром. Итак, речь идет о выборе информантов. Сделаем здесь небольшое отступление. Сегодня об исследованиях, использующих личные тексты, в методическом отношении социологи (в отличие от специалистов других дисциплин) сплошь и рядом судят по аналогии с моделью массового статистического обследования: выборка, измерения, математические формализмы. Центральный пункт недоразумений — выборка, приемы аргументации и подтверждения или опровержения выводов. Практически же сегодня прямая конфронтация между сторонниками разных методов ушла в тень и усилия постепенно концентрируются на поиске собственных путей обоснования. Пока предложены несколько методических решений или контрастов.

Глейзер и Страус выдвинули идею «выборки для целей построения теории» (в их терминологии *theoretical sampling*) [32]. Идея проста — интересоваться не только самыми распространенными случаями, вариантами, а эксплутировать и редкие, на первый взгляд, отклоняющиеся или странные варианты, смотреть, как ведут себя теоретические понятия и переменные в разных контекстах. В принципе, это, скорее, общий ориентир для любой теоретической работы. Однако он подчеркивает также приоритет теории для любой организованной эмпирии.

Другая идея принадлежит также А. Страусу, но применительно к биографическим текстам развивается Д. Берто. Речь идет о «сатурации», насыщении в процессе аналитического рассмотрения отдельных случаев, примеров. Поскольку каждый пространственный личный текст дает лавину материала не только

об авторе, но и об окружающем мире, довольно быстро наступает момент, когда дополнительные тексты уже не содержат существенно нового по заранее выбранной проблеме, поставленной в центр изучения. (Примеры см. у Берто [1] и др.) Замечу, что эта стратегия вряд ли подходит для чисто описательных работ, ее связь с определенной проблематизацией очевидна.

Третья идея также связана с упоминавшимися именами (А. Страус, Н. Денцин, Д. Берто) — это триангуляция, т.е. получение подтверждений из разных источников и с помощью разнообразных приемов [33, р. 246 – 273]. По сути это давно известная идея параллельных методов или сравнения. Подобная стратегия всегда желательна. Замечу, что приемы сравнения доминируют в традиционно мягких гуманитарных областях, в литературоведении, журналистике, истории, этнографии. Здесь они даже не осознаются как особый прием и считаются, скорее, фигурой стиля.

Все, относящееся к социокультурному миру, структурировано и в той или иной степени интерсубъективно. У этнографов есть простое правило. Любой элемент повседневной культуры достоин исследовательского внимания, если он встречается неоднократно (не менее трех раз) в условиях полевых наблюдений или у разных информантов. Этнографы пришли к нему чисто опытным путем [34].

Правила работы с текстами в прикладной лингвистике или в анализе повествований слишком обширны, чтобы их характеризовать здесь для наших целей. Некоторые из них описываются и оцениваются в обзорах А. Корниенко, которая впрочем, делает акцент на потребностях исследователей массовой коммуникации [25].

Как можно заключить из практики многих исследователей, основная линия обоснования методов работы с личными текстами — это структурность социокультурной ткани, ее сильная независимость от личных обстоятельств и особенностей. Эти свойства повседневной культуры, как мы считаем, находят прямое отражение в личных текстах, переносятся на них, поскольку действующее лицо в них одно и то же, человек неразрывен, но, конечно, между человеком говорящим и действующим есть зазор. Другое важнейшее обстоятельство — время, свойства человеческой памяти. Человек вспоминает, опираясь на память. Показано, однако, что память имеет коллективное измерение, что это еще одно социокультурное свойство личных текстов и повседневности. Добавим к этому измерение меняющейся идентичности автора текста как исторического лица и нарративных позиций персонажей текста. Как бы то ни было, когда мы говорим, мы рассчитываем, что мы будем в основном поняты нашими собеседниками, иначе говоря, мы явно находимся в пределах сложившихся форм коммуникации. Многочисленные подводные камни, которые скрыты в ситуации диалога, как известно, сегодня изучаются специально.

Выше упоминалось, что толкающая сила материала, собранного исследователем, оказывается часто неудержимой, с трудом контролируемой предварительным замыслом или проблематизацией. По аналогии с процессом написания автобиографии можно сказать, что сам материал является порождающей, продуктивной силой. В этом отношении он уводит от старых понятий и принуждает вводить новые. Как процесс письма, так и процесс исследования открыт для неожиданного, он не только воспроизводит, но и порождает культурную реаль-

ность (тезис конструктивизма). Но важно подчеркнуть, что основная линия анализа все же диктуется логикой самого материала, исследовательскими традициями, образцами и дисциплиной избранной теоретической ориентации.

Наконец, следует отбросить одно застарелое заблуждение. При господстве стандартных методов массового обследования было принято считать, что любые формы менее формализованных источников следует трактовать как пригодные только для подготовки схем формализации для целей статистического отбора и последующего измерения. Это касалось наблюдения, любых форм свободного интервью, техники фокус-групп, открытых вопросов, а тем более пространственных массивов текстов. В угоду требованиям представительности и измеримости интерес сосредотачивался только на типичном, массовом, клишированном, усредненном, с тем, чтобы уж затем по принятым правилам добираться и до редких или странных элементов или вариантов. Структура повествования или диалога (в интервью) не принималась во внимание, не говоря уже о самих по себе формах повседневности и других элементах культуры, воспроизводимых и порождаемых с помощью личных текстов. В новых исследованиях, напротив, именно эти особенности личных текстов эксплуатируются, в первую очередь, для целей генерирования теорий и их последующего обоснования с помощью плотного описания.

Многие личные тексты имеют в первом приближении характер повествований, нарративов. Формы нарративов обычно подчиняются явным или неявным канонам, развертывание повествования опирается на культурно устойчивые метафоры и другие тропы и топосы здравого смысла или нарративных традиций. Части нарративов образуют нормативно выстроенные секвенции, последовательности элементов текста. Эти, служебные для социолога, проблематизации нарративов помогают ему выделить и осмыслить, интерпретировать собственное содержание повседневности и структуру деятельности автора текста, его места и роли в социальном процессе. Наряду с этим болезненной проблемой исследования остается возможность принимать нормативные элементы культуры, часто приблизительные, расплывчатые или сглаженные, за саму структуру фактов и событий, подлежащих изучению.

Кроме всего прочего, немалое значение имеет новое понимание целей самой научной деятельности. Если теория ставится в зависимость от личных текстов и приближается к плотному описанию здравого смысла и повседневной культуры, ее целью естественно становится расширение горизонта повседневности, а не только игра с основополагающими абстракциями культуры или познавательного дискурса. Наука должна бы утратить эзотерический облик, не столько формулировать «рекомендации» власти предрежающим, сколько стремиться стать институтом социального обслуживания читающей публики, одним из ключевых социальных течений. Конечно, здесь речь идет только о социальных функциях социально-гуманитарного знания.

Текст и вокруг него

Вместе с понятием текста в социологию вошел человек и его культура. Прежде человек мыслился только социальным или природным существом, животным в лапах Левиафана. Хотя философы давно рассуждали о сознании и рефлексии, категориях и понятиях, образах и символах, дескриптивных, оце-

ночных и перформативных функциях языковых выражений, в приложениях социологии доминировали психика и потребности, ориентации и влечения. Фактический статус имели только авторитарные тексты, тексты власти или традиции, игравшие роль смиренной рубашки, надетой на строптивное неразумное животное, которое не желает повторять или следовать текстам власти. Традиции должны были глубоко погрузиться и затеряться в истории, а борьба почти достигнуть фазы наступающего взаимного уничтожения, чтобы человек был услышан. Чтобы укрепилось убеждение, что когда человек говорит, он существует. В демократиях человек массы «отдает свой голос». В клинической практике психоанализа человека принуждали выговориться только для того, чтобы покопаться в его звериной основе. Раб был говорящим орудием, которое иногда отпускали на свободу, где его поступки могли подчиняться собственному голосу. В массовом обществе широко распространено убеждение, что личные тексты, как и тексты институтов власти или массовой коммуникации, имеют чисто конвенциональный характер, что они служат только отражением дисциплинирующей силы внешних инстанций контроля и манипуляции. Что личность только призрак в социокультурной машинерии происходящего, что это фиктивное место или фиктивная сила, не имеющая самостоятельного значения.

Личные тексты являются разновидностями текстов вообще. Но их типологические особенности требуют дополнительного осознания. Характерно, что на ранних этапах личные тексты понимались не иначе, как личные документы, по аналогии с другими институциональными авторитарными продуктами. Тексты производятся словами и действиями людей. Это означает, что само понятие выходит далеко за пределы чисто лингвистических текстов. Театральное представление образует текст, пантомима — тоже текст. Дорожное происшествие — скорее всего нет, хотя его участники и профессионалы читают его с большим или меньшим успехом. Гроза и другие тексты природы прочитываются только в некотором метафорическом смысле, хотя именно так относились к природе примитивные народы. В этом отношении выделение текстов опирается на некоторую доктрину, имплицитную теорию. На социальное различие природы и культуры.

Текст производится и у него может быть автор. Личные тексты имеют автора, который производит текст (речью, письмом) в определенных условиях. Многие личные тексты самоценны, они являются откровением для самих авторов и некоторых окружающих лиц. В древности многие тексты считались священными, даже если они были личными. Опубликование личных текстов до сих пор связано с моральными и юридическими проблемами. Интенция текста и его интерпретация зависят от социальных статусов участников диалога. В макросоциальной коммуникации авторитарные тексты социальных институтов и протестные тексты толпы или социальных активистов вообще могут принадлежать разным субкультурам или даже культурам (ср. постановления ЦК и тексты «армянского радио» в недавнем прошлом).

Личный текст имеет содержание, он о чем-то повествует, заключает в себе смысл, кому-то адресован, может быть ответом на вопрос или самим вопросом, может быть рассмотрен как фаза диалога.

Текст может быть самоописанием, самовыражением, раскрытием или даже открытием себя, демонстрацией, пересказом своего поведения, поведения окружающих или положения дел. Текст может быть чистой фантазией, пример-

кой условной роли, явной игрой. И все же основное содержание личных текстов — это воспроизведение социокультурного мира, повседневности и событий, как они переживаются самими людьми в процессе соучастия в социальном мире, в глухом или явном диалоге с другими людьми и инстанциями.

Личные тексты не просто параллельная реальность, удваивающая мир поведения и действий, имитирующая его, отражающая или пересказывающая, это неотъемлемая часть самих действий, условие их повторения и понимания, во многих случаях реальность более важная и прочная, чем собственно физические действия, производимые и воспроизводимые людьми. Они таковы, поскольку культурно оформлены и именно в этом качестве воспринимаются, нормируются, контролируются, да и просто имеют смысл. Лишенные этих качеств физические действия просто выпадают из социокультурного процесса, хотя иногда и вторгаются в него как особые события, как разрушающая сила природы или непонятной власти, которая, впрочем, становится значимым фактом жизни только после интерпретации, после ее оформления в терминах социокультурной реальности,

Вообще говоря, интерпретация текста эквивалентна порождению иного текста, соотносимого с первым, и, следовательно, является иной фазой диалога. Это ставит вопрос, как диалог организован: на одном уровне культуры, на разных, в пределах одной культуры или выходя за ее пределы. Обычно принимают идеал, согласно которому интерпретация текста должна быть доступна автору в принципе. Но чаще всего этот идеал недостижим. Возникает проблема, чем ограничено многообразие интерпретаций.

Дискурс дисциплинирует появление связанных высказываний (конкретного текста) в структуре и потоке языка. Текст интерпретируется в рамках дискурса, относящегося к автору или принятого интерпретатором. Понятие дискурса (буквально — речи) является развитием и обобщением сосюрковского противопоставления *langue — parole*, т.е. системы языка — произносимых слов и выражений, иначе говоря, языка как социального института и отдельных индивидуальных действий, подчиненных его логике, воссоздающих его суть и содержание в социальном взаимодействии. Чтобы сформировалось современное понимание дискурса, нужно было явно ввести в рассмотрение языка социокультурные исторические факторы. Сегодня говорят о политическом или идеологическом, научном и феминистском дискурсе и т.п. Иначе говоря, дискурс рассматривается как поток речи, формируемый социальными или культурными институтами в пределах возможностей языка, от влияния, формирующего воздействия которых не может ускользнуть автор текста. Отсюда такой интерес к жанрам, стилям, регистрам, конкретным культурным кодам, репертуарам носителей языка. С помощью этих средств автор добивается понимания в пределах установленного дискурса. Рамки дискурса отграничивают условия рациональности или осмысленности диалога, указывают на источники информационной зависимости и уровни коммуникативной компетентности. Значит, понятие дискурса раскрывает взаимодействие языка с другими социальными институтами, все вместе они формируют и показывают социокультурное пространство индивидуальных действий, смыслов и переживаний.

Применительно ко всему пространству, например, некоторого национального языка, используются и другие единицы анализа (универсалии, ключевые

слова, семантические гнезда и поля, культурно специфические модели, семантические или прагматические профили и т.п.). Применительно к контексту разных социальных институтов или макросоциальных функций (политика, экономика, образование и т.п.) принято говорить о разных типах дискурсов, а к разным группам общественного взаимодействия, особенно противостоящим друг другу, еще и об особых типах фреймов (рамок), посредством которых направляется выражение и интерпретация в пределах дискурса.

Текст производится в некоторой ситуации. Контекст понимается как фон, как условия производства текста. Другое направление анализа контекста — это рассмотрение фона как арсенала всех выразительных средств и возможностей, которыми владеет автор. Понятие дискурса обобщает оба смысла контекста, но вводит, кроме возможностей, и другие нормирующие или властные инстанции (социальное пространство, эпоха и арсенал субкультуры, межкультурные связи, столкновения и заимствования). Они обычно становятся исходными предпосылками в процессе интерпретации.

В настоящем описании новых методов социологии не затрагивались, кроме некоторых полемических оценок, философские проблемы, которыми пронизано каждое из понятий, необходимых для практического применения методов. Мы стремились остановиться на констатации и систематике того прикладного вида, который новые понятия приобретают в горизонте формирующегося социологического обихода. Любое сомнение или новая идея может побудить читателя самого пуститься в поиск философской традиции или новации. Свою задачу мы видели в документировании общего впечатления от короткой шкалы изменений в социологии.

Литература

1. Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ / Под ред. В. Воронкова, Е. Здравомысловой. СПб.: ЦНСИ, 1997.
2. Судьбы людей: Россия XX век: Биографии семей как объект социологического исследования / Под ред. В. Семеновй, К. Фотеевой. М.: ИС РАН, 1996.
3. Биографический метод / Под ред. Е. Мещеркиной, В. Семеновй. М.: ИС РАН, 1994.
4. Семенова В. Качественная социология. М.: «Добросвет», 1998.
5. Саганенко Г.И. Сопоставление несопоставимого: Обоснование сравнительного исследования на базе открытых вопросов // Социологический журнал. 1999. № 3/4.
6. Lejeune P. Les inventaires des textes autobiographiques // Histoire, Economie et Société. 1996. 15. № 2.
7. Geertz C. The interpretation of cultures. N. Y.: Basic books, 1973.
8. Божков О.Б. Родословные (генеалогические) деревья как объект социологического анализа // Социологический журнал. 1999. № 3/4.
9. Лагунова Е. Образованная женщина: Доминанты судьбы // Феминистская теория и практика: Восток-Запад / Отв. ред. Ю. Жукова. СПб.: «Бояныч», 1995.
10. Лагунова Е. Женская биография: Образование как судьбоносный фактор // Образованный класс: История, структура, современные особенности / Отв. ред. В.Б. Голофаст. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1997.
11. Еремичева Г. Женщины Санкт-Петербурга о радикальных реформах: Ощущение катастрофы // Феминистская теория и практика: Восток-Запад / Отв. ред. Ю. Жукова. СПб.: «Бояныч», 1995.
12. Щепанская Т. Антропология молодежного активизма // Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга / Ред. В.В. Костюшев. СПб.: «Норма», 1999.
13. Щепанская Т. Телесные табу и культурная изоляция // Феминистская теория и практика: Восток-Запад / Отв. ред. Ю. Жукова. СПб.: «Бояныч», 1995.

14. Барчунова Т. Духовный мир русской деревни: Взгляд из Москвы и Хэмпшира // Феминистская теория и практика: Восток-Запад / Отв. ред. Ю. Жукова. СПб.: «Бояныч», 1995.
15. Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // На перепутьях истории и культуры. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1995.
16. Кольцова Е.Ю. Массовая коммуникация и коммуникативное действие // Социологический журнал. 1999. № 1/2.
17. Алексеев АН. Драматическая социология. Кн. 1, 2. М.: ИС РАН, 1997.
18. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: «Высшая школа», 1991.
19. Хейзинга Й. Осень средневековья. М.: «Наука», 1988.
20. Михайлов А.В. Й. Хейзинга в историографии культуры // Хейзинга Й. Осень средневековья. М.: «Наука», 1988.
21. Разумова И.А. Семейный фольклор: Докт. дис. / Ин-т этнологии РАН. СПб., 2000.
22. Цветаева Н.Н. Биографический дискурс советской эпохи // Социологический журнал. 1999. № 1/2.
23. Цветаева Н.Н. Идеология и ментальность (опыт социологического прочтения биографических текстов и интервью) // На перепутьях истории и культуры. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1995.
24. Цветаева Н. Особенности сознания образованных слоев (анализ автобиографий двух поколений) // Образованный класс: История, структура, современные особенности / Отв. ред. В.Б. Голофаст. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1997.
25. Корниенко А.В. Язык и дискурс в социологической перспективе. СПб.: СПб филиал ИС РАН, 1999.
26. Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: Голоса из хора. М.: Ин-т филологии РАН, 1996.
27. Козлова Н.Н., Сандомирская Л. «Я так хочу назвать кино»: Наивное письмо: Опыт лингво-социологического чтения. М.: «Гнозис», 1996.
28. Повседневность середины 90-х годов глазами петербуржцев / Отв. ред. И.И. Травин, Ю. Симпура. СПб.: «Европейский дом», 1999.
29. Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга / Ред. В.В. Костюшев. СПб., 1999.
30. На корме времени: Интервью с ленинградцами 1930-х годов / Под общ. ред. М. Витухновской. СПб.: Журнал «Нева», 2000.
31. Расскажи свою историю / Ред.-сост. М. Дмитриева, В. Соколов. СПб.: Издательский дом «На дне», 1999.
32. Glazer B., Strauss A. The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine Press, 1967.
33. Manning P., Cullum-Swan B. Narrative, Content, and Semiotic Analysis // Collecting and Interpreting Qualitative Materials / Eds. N. Denzin, Y. Lincoln. L.: Sage, 1994.
34. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.